

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

4

1999

НОВЫЙ
МИР

1999

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4(888)

Апрель, 1999 г.

СОДЕРЖАНИЕ

БОРИС ЕКИМОВ — Пиночет, повесть	3
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Блуждающий зуммер, стихи	44
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР — День писателя, рассказ	49
ВЕРА ПАВЛОВА — Логопедия, стихи	64
ГЕОРГИЙ БАЛЛ — Лодка. Мистерия	67
ИЛЬЯ ФАЛИКОВ — На морском велосипеде, стихи	97

ПОЛЕМИКА

ВСЕ ПРО ТОТ ЖЕ «ТРЕТИЙ ПУТЬ». Александр Носов — Татьяне Чередниченко. Татьяна Чередниченко — Александру Носову	102
--	-----

МИР НАУКИ

ГЕНЕТИКА, ОБЩЕСТВО, БИОЭТИКА. Леонид Корочкин. В лабиринтах генетики; Ирина Силуянова. Пародия на бессмертие	110
--	-----

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

«РЕЧЬ НЕ О КНИГАХ, А О ЖИЗНИ...». Переписка Фридриха Ницше с Готфридом Келлером, Георгом Брандесом и Августом Стриндбергом. Перевод с немецкого, вступительная статья и примечания Игоря Эбаноидзе	130
--	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН — С Варламом Шаламовым	163
--------------------------------------	-----

ОПЫТЫ

А. С. Пушкин. 1799 — 1999

ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ — Пьеро Белкин	170
--------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

СЕРГЕЙ АНТОНЕНКО — Поколение, застигнутое сумерками	176
---	-----

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

По ходу текста

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Жизнь врасплох	186
-----------------------------------	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Мария Ремизова. Ирония, вернейший друг души	193
Дмитрий Быков. Трогательная книга, или О вреде твердой обложки	195
Сергей Ларин. Язык тоталитаризма	200
В. К. О попытках «завершить» Французскую революцию	205

Валерий Липневич. — Афанасий Мамедов. На круги Хазра. Повесть	208
Дмитрий Бавильский. — Игорь Клех. Инцидент с классиком	210
Олеся Николаева. — Абрам Терц. Кошкин дом. Роман дальнего следования	212

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — А могло бы быть иначе?	215
--	-----

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

«...У ВАС ЕСТЬ ЧИТАТЕЛИ!..»	219
«НЕСКОЛЬКО ЛИЧНЫХ ПРИМЕЧАНИЙ...»	226

ПРЕМИЯ

МАКСИМ АМЕЛИН — Краткая речь в защиту поэзии	228
--	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка (составитель Сергей Костырко)	230
Периодика (составитель Андрей Василевский)	232
SUMMARY	240

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»
ВЫРАЖАЕТ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
ДЖОРДЖУ СОРОСУ,
ВСЕМ СОТРУДНИКАМ ИНСТИТУТА «ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО»
(ФОНД СОРОСА) И ЕГО ПРЕЗИДЕНТУ
ЕКАТЕРИНЕ ЮРЬЕВНЕ ГЕНИЕВОЙ
ЗА ПОСТОЯННУЮ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПОМОЩЬ В РАМКАХ
МЕГАПРОЕКТА «ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»!**

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 4631 экземпляр журнала «Новый мир».

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



С ВАРЛАМОМ ШАЛАМОВЫМ

Мы с ним оба были верные «сыны Гулага», я хоть по сроку и испытаниям меньше его, но по духу, по отданности, никак не слабей. Это — очень стягивало нас, как магнитом. И когда в 1956 я читал в самиздате стихи его, неведомого:

Я знаю сам, что это — не игра,
Что это — смерть. Но даже жизни ради,
Как Архимед, не выроню пера,
Не скомкаю развёрнутой тетради, —

да ведь это ж просто обо мне! о моей тайне! — и он соучастник. И с подобным же чувством прочёл он в самиздате 1962 года «Ивана Денисовича» — по своему пессимистическому взгляду никак не допуская, что это будет опубликовано.

В один из средноябрьских дней, когда «Иван Денисович» был только-только напечатан, мы впервые встретились в комнатухе отдела прозы «Нового мира». Он был крайне взволнован событием (теперь имея в виду, что же будет с «Колымскими рассказами»): по своей болезненной манере нервно подёргивал вытянутым бритым лицом, как бы закусывая сдвинутой челюстью и размахивал предлинными руками. Из его первых фраз было: что идёт повсюду спор — будет ли мой рассказ ледоколом, таранящим дорогу и всей остальной правде, лагерной и не лагерной, либо (и Шаламов склонялся так): это — только крайнее положение маятника, и теперь покачнёт нас в другую сторону. Я, хоть и ожидал вскоре зажима меня самого — но лишь потому, что всё прочее моё обнаружится куда острее «Денисовича», а в общем движении, я думал, прорыв продолжится и будет значительный. Нет, пессимизм Шаламова оказался верней.

В тех же днях он написал мне в Рязань длинное, пылкое письмо, если даже не назвать его отчасти нежным, хотя это так непохоже на Шаламова, но был такой дух в его письме! «...очень-очень эту повесть хвалили. Но только прочтя её сам, я вижу, что похвалы преуменьшены неизмеримо», «столь тонкая высокохудожественная работа мне не встречалась, признаться, давно»; «повесть эта для внимательного читателя — откровение в каждой её фразе», «детали, подробности быта, поведение всех героев очень точны и очень новы, обжигающе новы». О «школе Ижмы» для Шухова: «Всё это в повести кричит полным голосом, для моего уха...» — «Художественная ткань так тонка, что отличаешь латыша от эстонца»; «произведение чрезвычайно экономно, напряжено, как пружина, как стихи». — И даже, переступая через своё глубокое убеждение об абсолютности зла лагерной жизни, признавал: «Возможно, что такого рода увлечение работой [как у Шухова] и спасает людей».

Повод был — об «Иване Денисовиче»; а в письме том — делился он и делился нашими общими лагерно-литературными чувствами на таком пороге. Я, разумеется, теплейше ему ответил, а вскоре, по его приглашению, повидал его в Москве — оказалось, в том же полубарачном-полуписательском городке на Хорошевском шоссе, где только что недавно я был у Ахматовой. В. Т. оказался женат, у жены взрослый сын, — но странное было впечатление условности этого соединения,

чуть ли не раздельного хозяйства супругов. Один этот раз я и видел их вместе, а то всегда заставлял В. Т. одного, в его отдельной комнатухе, сходной с камерой.

Не помню, ещё при первой ли нашей встрече в редакции или в этот раз тут, но на очень ранней поре возник между нами спор о введенном мною слове «зэк»: В. Т. решительно возражал, потому что слово это в лагерях было совсем не частым, даже редко где, заключённые же почти всюду рабски повторяли административное «зе — ка» (для шутки варьируя его — «Заполярный Комсомолец» или «Захар Кузьмич»), в иных лагерях говорили «зык». Шаламов считал, что я не должен был вводить этого слова и оно ни в коем случае не привьётся. А я — уверен был, что так и влипнет (оно оборотливо, и склоняется, и имеет множественное число), что язык и история — ждут его, без него нельзя. И оказался прав. (В. Т. — нигде никогда этого слова не употребил.)

Тут я взял у В. Т. читать уже многое из его «Колымских рассказов» (в несколько потом приёмов возвращал и больше брал), тут же сговорил его сделать подборку стихов, которые сам передам Твардовскому. (Стихи его уж очень-очень были мне к сердцу.) Первые месяцы после напечатания «Ивана Денисовича», даже год, пока я не начал усиленно собирать материалы для «Красного Колеса», я не знал на себе более высокого долга, чем лагеря и бывшие зэки.

Правда, рассказы Шаламова художественно не удовлетворили меня: в них во всех мне не хватало характеров, лиц, прошлого этих лиц и какого-то отдельного взгляда на жизнь у каждого. В рассказах его не-лагерных чаще был какой-нибудь анекдотический случай, которыми одними литературу не питаешь. А в лагерных — действовали не конкретные особенные люди, а почти одни фамилии, иногда повторяясь из рассказа в рассказ, но без накопления индивидуальных черт. Предполагать, что в этом и был замысел Шаламова: жесточайшие лагерные будни истирают и раздавливают людей, люди перестают быть индивидуальностями, а лишь палочками, которые использует лагерь? Конечно, он писал о запредельных страданиях, запредельном отрешении от личности — и всё сведено к борьбе за выживание. Но, во-первых, не согласен я, что настолько и до конца уничтожаются все черты личности и прошлой жизни: так не бывает, и что-то личное должно быть показано в каждом. А во-вторых, это прошло у Шаламова слишком сквозно, и я вижу тут изъян его пера. Да в «Надгробном слове» он как бы расшифровывает, что во всех героях всех рассказов — он сам². А тогда и понятно, почему они все — на одну колючку. А переменные имена — только внешний приём сокрыть биографичность.

Другая беда его рассказов, что расплывается композиция их, включаются куски, которые, видимо, просто жалко упустить. Многие рассказы («Галстук», «Тётя Поля», «Тайга золотая» и другие) составлены как бы из калейдоскопических кусочков, нет цельности, а наволакивается, что помнит память, — хотя материал самый добротный и несомненный. Иногда из недоразвитой картины он перескальзывает в рассуждение, но и оно расплывается (как в «Красном кресте»). Однако во всех этих приметах я усматриваю не столько творческую программу Шаламова, сколько результат его изнеможения от многолетнего лагерного измота. В них тоже — черта подлинности.

Очень ценно было отдельное его «физиологическое» исследование о блатном мире.

Стихи Шаламова всегда мне нравились больше, чем проза его. (Как и ему самому.)

В новогодние дни 1963 года Шаламов приходил к нам в гости в неприятно-«роскошный» номер «Будапешта», что на Петровских линиях, мы ужинали в номере и живо обсуждали пьесы: мою «Олень и Шалашовку», которую он уже прочёл, — и его колымскую пьесу, не помню её названия, драматургии в ней было не больше, чем в моей, но живое лагерное красное мясо дрожало так же, пьеса его волновала меня.

До этой поры я ещё не взялся записывать наши встречи с Шаламовым. Первый раз записал встречу в мае 1963. Это — почти сплошь его отдельные литератур-

² Позже, в 1993, это и подтверждено близким свидетелем. — «Время и мы», № 115, Сиротинская.

ные суждения. Не знаю, может быть, они уже опубликованы, изложены в системе, но во всяком случае приведу отрывочно, как у меня записано.

— Андрей Платонов — очень большой писатель, загублен Горьким, которому верил, а тот советовал чушь: «не печатайте».

— Горький — отец журнального «самотёка», он провозгласил, что талант — это только труд, трудом можно достичь всего, и обманул многих бесплодных кропателей. Но труд — это уже *потребность* таланта, а не отец таланта. (Верно!)

— Писатель должен быть немного «иностранцем» по отношению к описываемому материалу. Слишком много знать о материале не надо, слишком большой опыт не нужен писателю: он тогда становится непонятен своим читателям, чересчур глубоко уходит в материал, не знакомый им. (Последнюю опасность понимаю, но талант и вкус должны помочь от неё удержаться. А не знать материала достаточно хорошо — с этим не соглашусь: тогда и будет поверхностно. В. Т. говорил это, видимо, с горечью о себе: что он *слишком* вошёл в лагерный материал, так что читателям уже и не верится или слишком неуютно. А я примеряюсь — к истории революции: как же бы можно сметь писать её, зная недостаточно?)

— В ритмах, размерах русской поэзии — бесконечное многообразие, ямб не похож на ямб и т. д. Поэтому: нечего искать какие-то новинки, рваные формы. Надо *выдать кровь* — и будут *стихи!* (Совершенно с ним согласен.)

Это — из устойчивых убеждений В. Т., об этом у него есть и стихотворение:

Поэзия — дело седых,
Не мальчиков, а мужчин
.....
Сто жизней проживших сполна.

— Стихотворение не должно быть продумано заранее, а родиться в ходе написания.

— Ахматова — очень большой поэт, больше Гумилёва, даже обрезая её по 1921 году. Её единственный недостаток — некоторая академичность, холодноватость. Цветаева — больше Ахматовой, потому что горячо вложила душу и кровь. Но — много потеряла на ненужные формальные поиски.

— У Есенина — чистое поэтическое горло, этим он отличается. И... — у Северянина было чистое горло.

— У Твардовского самое лучшее — «Дом у дороги», потому что минор, трагическое звучание. В мажоре не создаются великие вещи. Фронтовой «Тёркин» выше «Тёркина на том свете», в этом последнем много частных достоинств (отдельные строфы, мысли, места), но главный порок: что сталинское время — не предмет для балагана, у Твардовского плавный санный съезд с темы. (Шаламов до конца сохранял полный эзеский накал. И не заметил я в нём, чтобы холодный отказ Твардовского лично раздражил его против А. Т. А какое горе, что Твардовский не воспринял и не напечатал тех стихов Шаламова.) «За далью даль», считал он, — провал.

— Поэтов не урожаяется ни «больше», ни «меньше». Их бывает всегда примерно одно и то же количество на поколение. (Эта мысль — и странная, и спорная.)

Спорили мы с ним о точке с запятой. Шаламов считал, что этот знак совсем себя изжил и ставить не надо. А я — отстаивал, он очень незаменим бывает, и зря им мало пользуются теперь.

Окно варламовской комнатухи всегда было наглухо закрыто и форточки не откроешь: выходило на Беговую, на страшное Хорошевское шоссе с постоянным перегаром грузовиков, а ещё как дребезжали стёкла от раннего утра и до позднего вечера! — но тут Варламу «помогала» сильная послелагерная глухота. А я как раз в тот (1963) год, получив свободу от школы, провёл чудесную весну в Солотче в разливное время в отдельном домике в лесу, и на осень ехал туда же, отдаться писанию «Ракового корпуса». И так мне жалко было Варлама, что он лишён и тишины и воздуха, я пригласил его приехать и поработать у меня недельку. И он охотно приехал. Это был тёплый сентябрь, когда ещё топить не нужно. Избушка не имела отдельных комнат, печь и перегородки не до потолка, всего-то мог я ему предло-

жить закуток, правда светлый, с отдельным окном на юг, с кроватью и маленьким столиком.

Приглашая его, я судил по себе: мне бы только дали работать в тишине и в чистом воздухе, с утра до вечера, лишь бы не мешали, — и я думал, что и он нуждался лишь в том. А, оказалось, он понимал так, что вторую половину дня или хотя бы к вечеру мы будем подолгу разговаривать. Он предполагал между нами длинные литературные разговоры, он весьма нуждался в таком общении — да и очень интересные у него суждения. Но я вообще не люблю «разговаривать о литературе»; предпочитаю молча читать и впитывать, молча писать своё. Да при моём постоянном тоннельном прорыве сквозь хребты, 16-часовой неразгибности в день, — я совершенно не готов был так проводить время. Уклонился раз, два, три, самое большое могу разговаривать только к ночи полчаса. Он — может быть обиделся, может быть и нет, — но понял нашу несовместимость, и через два дня круто сказал, что — уезжает. Всё же в Солотче он написал два-три стихотворения («Будто там, в садах Платона, / Длится этот диалог...»). Открытой размолвки между нами этот неудачный опыт не вызвал — но и не сблизил никак.

Были у нас встречи и после того, но записана у меня весьма важная встреча 30 августа 1964. Я только что вернулся после летней работы в Эстонии, где неудержимо понесло меня на складку большого корпуса «Архипелага». Определились и Части его, и в Частях — многие главы, и множество уже натекшего материала я разнёс по этим заготовкам глав. Но: я и не верил в возможность справиться мне одному, да и просто не смел с таким замыслом обойти Варлама: он имел все права на участие. И я пригласил его встретиться — прийти на Чапаевский, где я остановился у Вероники Туркиной-Штейн. По телефону я, разумеется, не мог ему даже намекнуть — и он, хотя это было утреннее время, пришёл как в гости — очень помытый, в чистенькой голубой рубашке, каким мне не приходилось его видеть по его домашней запущенности. А я вместо торжественного стола — повёл его, чтобы не «под потолками», в соседний большой сквер, где и улеглись мы на травке в отдалении ото всех и говорили в землю — разговор был слишком секретен.

Я изложил с энтузиазмом весь проект и моё предложение соавторства. Если нужно — поправить мой план, а затем разделить, кто какие главы будет писать. И получил неожиданный для меня — быстрый и категорический отказ. Даже: знал я за В. Т. умение тонко намекнуть вместо того, чтобы сказать прямо (у меня уже слагалось такое ощущение, что я с ним открыт, а он полужакрыт), — а тут он ответил прямо: «Я хочу иметь гарантию, *для кого пишу*».

Я был тяжело поражён: до этого самого момента я был уверен, что у него, как и у меня, главная линия — сохранить память, просто писать для потомства, хоть без надежды напечатать при жизни. А он:

— Зачем я буду это писать? Какая разница, что я напишу — и это будет лежать в каком-нибудь другом месте?

Да ведь понятно ему было: такую книгу невозможно печатать.

Мысль об известности — видимо, сильно двигала им.

Ответ его был так категоричен, что и уговаривать бесполезно. Весь огромный замысел теперь ложился на мои плечи на одни. Записал я в тот день: «Нет, между нами всё-таки нет открытой ясности отношений, какая-то стена отчуждения или неполного родства — и вряд ли мы через неё когда-нибудь перейдём...» Ушёл я с утяжелённым чувством, хотя понимал, что он волен быть самим собой. Но было и облегчение: я тоже ведь, таким образом, сохранял теперь индивидуальность пера.

Это только начало мне тогда проясняться, главным образом со стороны художественной: трудно нас сопрячь в одну книгу, очень мы разные перья. И о скольких принципах, направлениях, пропорциях, тоне, местах, абзацах и фразах пришлось бы нам спорить — пожалуй, до взаимного истощения. Но в тот момент мне казались важной — единство и совместный охват нашего лагерного опыта.

Только много позже, уже работая над «Архипелагом», я подумал: а взгляды? да разве можно было совместить наши мироощущения? Мне — соединиться с его ожесточённым пессимизмом и атеизмом? А — политические взгляды? Ведь, несмотря на весь колымский опыт, на душе Варлама остался налёт сочувственника революции и 20-х годов. Он и об эсерах говорил с сочувственным сожалением, что, мол,

они слишком много сил потратили на расшатывание трона, и оттого после Февраля — у них не осталось сил повести Россию за собой. (Да ведь — и ума! и души! да ведь — и ответственности перед страной и государством.) За пределами лагерной темы, на русскую и советскую историю в целом — у нас были взгляды, конечно, слишком разные.

И хорошо, что Шаламов отказался, — только загубили бы мы книгу.

В ту встречу были и другие разговоры у нас, восстанавливаю по записям того дня. После нескольких лет держания, чуть ли не с 1958, редакция «Советского писателя» вернула ему «Колымские рассказы», 34 штуки. При этом 4-6 положительных внутренних рецензий (о которых ему известно) — все скрыты, и присланы автору только две отрицательных, главная из них — «октябриста» Дрёмова. Тот пишет, что рассказы эти *неполезно* читать советскому читателю. И пытается Дрёмов противопоставить «Колымским рассказам» «Ивана Денисовича» (за которого, впрочем, в той же рецензии хает и меня: «пытался», «не удалось», «слабая художественная индивидуальность образов»). В. Т. предположил, и мы согласились: такие рецензии (там и адрес критика указан) следует распространять в самиздате вместе с отвергнутым произведением, пусть люди узнают о сути таких внутренних рецензий; тогда авторы их ещё десять раз подумают прежде, чем так подло рецензировать. С раздражением на Дрёмова Варлам сказал:

— Как я мог полемизировать с «Иваном Денисовичем», когда это написано на 10 лет раньше?..

(Да, впрочем, и я «Ивана Денисовича» задумал в 1950, мы развивались параллельно.)

Раздражение В. Т. невольно переносилось и на меня, на успех «Денисовича» — и можно его понять! Пройдя такие жестокие муки, годами вынашивая рассказы о них — и всё обойдённый печатью. Конечно, от первого же появления «Ивана Денисовича» Шаламову было очень тяжело: что, такой заслуженный лагерник, не он первый вышел с этой темой громко. Но — тогда он не дал в себе развиться зависти, обиде, держал себя благородно.

Ещё в тот раз Шаламов сказал: поэтическая критика в «Новом мире» ведётся очень плохо, и он перестал там работать внутренним рецензентом.

И ещё, о театре «Современник», очень меня поразив:

— Это — театр, который гонится за сенсационностью, а своей *линии* у него нет.

Я: — А у какого театра теперь — есть?

Он: — Это уже другой разговор.

И не ответ.

Были и ещё у нас встречи, но записана только одна: в начале июня 1965, в комнатке В. Т. на Хорошевском шоссе, где стёкла не умолкали постоянно греметь от страшного шума тяжёлых грузовиков.

В. Т. с большим и справедливым раздражением разносил какую-то напечатанную фальшивую книгу о колымских лагерях (не записал я автора, кажется на «К»). В этой связи заговорили о мемуарах Е. Гинзбург (тогда только 1-й части). Он резко высказывал: забвение товарищей, выпячивание себя (я сам не нашёл так, хотя и Твардовский сказал о книге то же самое); враньё (?), фальшивая душа; характер втируши, крайне (?) левые мнения, рукопись как паспорт фрондизма. Резко говорил и о ней самой: что на Колыме она занималась коммерческими операциями, а «обосновать более тяжёлого обвинения не могу» (т. е. в стукачестве). Кажется, его раздражение загорелось из-за двух её характеристик: похвальной — Кривицкому (В. Т.: он — организатор провокаций и лагерных процессов) и хулы — Владимировой (о которой Шаламов написал: «Пророчица или кликуша»).

В этот раз рассказывал Варлам и о своём выступлении на мандельштамовском вечере, которым был горд. Записано у меня, сказал буквально:

— Мой час придёт!

Да, было у него много прав для такой надежды. Но — слишком жестокая и длительная мясорубка, а жизнь — отмерена, а здоровье обрывчиво.

После провала моего архива в сентябре 1965 начались годы травли и моей накальной борьбы, и мы уже не виделись. Отозвался я немедленно письмом на пуб-

ликацию его стихов в «Литгазете» летом 1966: «Очень неожиданно и тем более приятно было увидеть в „Литературке“ Ваши стихи! Рад! Нравится. А „О песне“ — 1 и 4 — великолепны, очень значительны!» В тот же год и он мне — на моё выступление в Институте востоковедения: «Поздравляю. Так и надо было действовать давно». (Не угас под пеплом его политический, бунтарский огонь...)

А потом вдруг — его тягостное отречение от «Колымских рассказов» в «Литгазете» в феврале 1972: «зловонные журнальчики» (эмигрантские), «змеиная практика господ из „Посева“», «я — честный советский гражданин, хорошо отдающий себе отчёт в значении XX съезда коммунистической партии» и — «проблематика „Колымских рассказов“ давно снята жизнью»... От дела всей своей жизни — так громко отрёкся...

Меня — это крепко ударило. Кто?? Шаламов?? сдаёт наше лагерное? Непредставимо, как это: признать, что Колыма — «снята жизнью»?! И помещено-то в газете было почему-то в чёрной рамке, как если бы Шаламов умер. Я в тех же днях откликнулся в самиздате. И добавил в «Архипелаг».

Жестокий конец, как вся лагерная и послелагерная жизнь Шаламова. Да и — как устоявшееся выражение его худого желвачного лица при чуть уже безумноватых глазах.

Пополнил он ряд самых трагических фигур нашей литературы.

1986

Добавление 1995 г.

А вот, вдруг, опубликовано «Из дневников» В. Шаламова³. (Видать — далеко не всё, очень разрозненно).

И я поражён. Из всего нашего знакомства, ни из одной встречи, никаким предчувствием я не мог предположить такое: что Шаламов меня возненавидел.

Теперь стал мне понятен и его отказ от соавторства по «Архипелагу»: «Почему я не считаю возможным личное моё сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать своё личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого в общем-то дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына». (Да неужели же к моей *борьбе* с советским режимом, никогда ни малейшей сделки с ним, ни отречения от своего написанного, — подходит слово «делец»?)

Больно, Варлам Тихоныч, своих не познаша... А я считал Вас — уж каким братом по перу!

Теперь он вспоминает разговор — не помню, может быть и был, а может быть его задуманный и произнесенный вопрос: как мог я (нищий провинциальный учитель) принять гонорар за публикацию «Ивана Денисовича»? Что за нелепость? (Отдав миллионные гонорары за «Архипелаг» в фонд помощи ээкам, я себя упрекнуть никак не могу.) А сам Шаламов, за публикации своих лагерных стихов — разве не брал гонораров? И кто его упрекнёт? А вот — напечатать, что «проблематика „Колымских рассказов“ давно снята жизнью», — вот это по отношению к лагерной памяти — как?

А может быть это своё отречное письмо сам Шаламов и не ощутил как оглушительную капитуляцию? Вопреки его буйной политической молодости — после лагерей, вследствие ли ээковской осторожной выучки, или по истинному переносу интересов — ведь он никогда, ни в чём ни пером, ни устно не выразил оттолкновения от советской системы, не послал ей ни одного даже упрека, всю эпопею Гулага переводя лишь в метафизический план. На остаток — его разногласия с советской властью были, как у Синявского, «лишь эстетические»?

Хотя нет. Та политическая страсть, с которой он когда-то в молодости поддерживал оппозицию Троцкого, — видно, не забита и восемнадцатью годами лагерей. К тому вижу его запись, что ему, 50-летнему, «даже в 1956 году не было поздно

³ «Знамя», 1995, № 6.

повторить карьеру де Голля». Удивительная запись (примерно 1978). Разве горит у Шаламова деголлевская жажда спасения Родины? Или: что понимал он в военном деле, военном духе? Как всегда у него: ничто на Земле не сравнимо с лагерем. Однако и: не всё на Земле лагерем исчерпано.

Теперь видно: озлобление его ко мне — настойчиво росло, всё возвращается. Уже — и рак я «придумал» (и Твардовский было «придумал», но доказал смертью...). И за границу почему не поехал — «боялся встречи с Западом». И то, что я свою лагерную стихотворную повесть сам не печатаю по её несовершенству, — тоже мне в вину... И помощь ему предлагал — тоже в вину.

Недобро и о Пастернаке. Пренебрежительно (и с полным непониманием!) к Булгакову. Да сквозь все его эти дневниковые записи — обозлённость то и дело выныривает, далеко не только ко мне.

Уж так круто-тяжко сошлось Варламу к его ужасному концу. В одинокие предсмертные годы не выдержал душой неудач и несчастий.

Добавление 1998 г.

В «Шаламовском сборнике», выпуск 2, повторив публикацию «Записных книжек» из «Знамени», публикаторша берётся ещё — от себя — пополнить упреки покойного ко мне⁴.

«Солженицын не показал рассказов Шаламова Твардовскому» — и сопровождает своими низкими толкованиями. А я — сразу же за публикацией «Ивана Денисовича» обратился к В. Т.: отберите какие Ваши стихи, я попробую передать А. Т. И — передал. Твардовскому, к моему удивлению и сожалению, они вовсе не понравились, и он выразил мне резкое неудовольствие моим посредничеством⁵. Продолжать его, настаивать — было неуместно. Тем более, что путь через новомирский отдел прозы был Шаламову и открыт, и использован им: его рассказы там хорошо знали, они лежали в «Новом мире» задолго до публикации «Ивана Денисовича», он сам мне о том писал.

Ещё, прямой навет. В рубрике «Разрозненные записи <1962 — 1964>» приводится записанный Шаламовым разговор⁶ с «новым знакомым», который, «быстро перебирая небольшими пальчиками» машинопись рассказов Шаламова, наставляет его: «в Америку посылать этого не надо», «не верить в Бога» — нельзя «добиться успеха на Западе»; и ещё: «Александр Трифонович не любит слова „кулак“». Поэтому я всё, всё, что напоминает о кулаках, вычеркнул из Ваших рукописей, Варлам Тихонович». — Шаламов не называет имени «нового знакомого», но публикаторша делает это за него: в комментариях 1995 года намекает, а в 1997, в «Шаламовском сборнике», вып. 2, уже прямо, не смущаясь, приписывает Солженицыну слова: «Без религии на Западе не пойдёт». — **Никогда не было** у меня с Шаламовым ни такого, ни подобного разговора — «пойдёт-не пойдёт», никогда я не «черкал» рукописей В. Т., никогда не обсуждал, посылать ли ему их на Запад.

Сиротинская искажает и обстоятельства моей реплики на отречение Шаламова в «Литгазете»: «из благополучного Вермонта... о бесправном, но недобитом калек». Я откликнулся тогда же, в СССР, в феврале 1972, весьма далёкий от благополучия и обложенный травлей с непредсказуемым концом.

⁴ «Шаламовский сборник». Выпуск 2. Вологда, «Грифон», 1997, стр. 73 — 75.

⁵ «Бодался телёнок с дубом». М., «Согласие», 1996, стр. 57 — 58.

⁶ «Знамя», 1995, № 6, стр. 143 — 144.